

Пуговицы / рассказ

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Пуговицы / рассказ ПУГОВИЦЫ

Город у нас такой: на табличке – рай, под табличкой – хозблок. Воды так мало, что люди придумывают ее себе сами: налаживают аквариумы, в которых рыбыдохнут без гласа и воздыхания, суют в напитки лед, а потом сами же им и давятся, но последовательность такая, что на одного мертвого придут двое угасающих. На одного умного – улица дураков, на одного чистого – габаритный камышатник. Так что из всего прилично извлекать благо и выгоду: богатый, наевшись много, лопнет, а бедный не побрезгует и жмыхи подберет. Что касается обычных, то есть нас, то мы все повторяем здесь жизни своих родителей, потому что носим их же имена. И хоть и говорят, что сын рыбака может быть кем угодно, но скорее всего намерений ему хватит только на то, чтобы насаживать блесну, да следить, чтобы какая гадина из ведра поневыпрыгивала.

В городе твердого и холодного по преимуществу: камень, кирпич, асфальтовые поверхности и стяжки бетонные. Наверное, поэтому всему его составу так хочется согреть кого-то или что бы их кто-то согрел. А если никто не греет, то получается не станция для жизни, а попово гумно – чахнут, хилеют, ресурсы сердечные у них в заначку лезут и срок свой вырабатывают раньше положенного. Да только бороться с этим никто и не желает. Да и как бороться, ежели разобщенность – обычное жизненное течение? Вроде и сойти хочется, да рельсы в одном направлении уложены. Вот и приходится в набитом вагоне от чужого рыла отгораживаться и жадать при этом всем, чтобы такое же рыло тебя дома-то и дожидалось. С отличием только и всего, что оно не здешнее, не вагонешное. Такая жизнь в обобщении и выходит – то ли навоз с плюшками, то ли мед с глистами.

В нас детях это отображение тоже себя находило. Сосед мой

Валька ко всему самостоятельно подходил с самого начала. Страсть у него была к документированию – не остановить, не замедлить. Решил составить перечисление всех игр, которыми весь двор болел и соседние заражал. Получилось не многочисленно, но как-то не в меру по-взрослому: кладбище, плен, изображать Лидера и семья. Первая, пожалуй, что более всего подходит к подтверждению моей упомянутой теории.

«Игра Кладбище» – почти что пел Валя, трепыхая своими веснушками на щеке, которые на общество почему-то действовали раздражающе – «Игра, в которой принимает участие один и более человек, а также вообще все, кто желает. Что нужно для игры? Камешки, палочки и немного зеленых листьев. Если у вас нет лопаток, то допускается копать руками (Валя никогда не ленился показывать рукой в воздухе, как именно копать – допускается, чтобы все сохраняли одинаковые условия). Хоронить можно мертвых жуков, мертвых муравьев любого цвета, пауков, мертвых птиц и кошек. Каждую могилку нужно обозначить камешком и сделать ограждение. Игра заканчивается по совместному решению всех участников. Победитель лучшего кладбища определяется путем голосования всех участвующих».

Лидер наш призывает мечтать напрасно и зазря – только душу изводить, если дела больше никакого не имеешь. Если долго смотреть на его лицо, то в нем можно увидеть всех тех других, что были до этого. И то, что орбиты глазные вдавленные и посажены у него близко к носу – так должны же они как-то защищаться от однообразия. Имя у него самое простое – его тоже подбирали так, чтобы когда люди звали своих детей, то он звенел вместе с ними. А еще если долго тянуть в нем гласные, то они совсем даже и не заканчиваются. И это правильно, ведь все знают, что Лидер – это категория человеческого мышления совершенно бесконечная. Как небушко или светила его, в которых черт только разве и познает, что погасло на самом деле, а где жизнь новая зародилась – для нас все однородно. Звезды тебе и пусть дальше будут.

И знаю я о Лидере все тоже, что и остальные: носит по привычке он только серое, к рыбалке тяготеет, а еще выщелкивает свет, когда выходит из комнаты. То есть, разумное потребление начинается с себя, а не с соседа. Мыслится это умными людьми так – бытовые подробности роднят и даже в самом безразличном сердце отпечатываются. Лидер – мы все и сам он среди нас, как между строк. Люди присовокупляют к Лидеру качества человеческие, простые, чтобы он им самим казался больше похожим хоть на какую-то персональность. Вот и выбираются подробности самые умильные: собак, мол, гладит, кондиционером пользуется, курить бросил не без помощи научного подхода.

Я всю жизнь живу с Лидером, как со звездами. Если откровенно сказать, то и зла-то я на него относительно его обо мне неведения не держу. Потому что если вдумчиво разобраться без какой-либо эмоциональной окраски и дополнительной фантазии, то это мы на звезды смотрим, а не обратное.

Бабушка всегда сперва по стакану любила щелкнуть прежде чем из него глотнуть, так как особенно ее скреб вид застоявшейся воды, где дно просматривается свободно и без затруднений. Если знаешь, что дно в себе хранить может, то нырять к нему охоты нет. Она и признавалась без стеснения, говоря: «Нужно всегда успеть увидеть нож в воде». Потому как помнила, к чему вид такой привести может и нас оградить хотела. Только за столом все смотрели между бровей друг друга, в переносицу и на у кого сколько смелости и интереса. Бабушка трясла стакан, и никто не спрашивал ее, хочет ли она чего-нибудь дополнительного. Просто, как сидишь и терпишь старого человека, который предлагает исключительно немыслимые решения и запаздывает с ответами на несколько прошлых поколений. Она всю жизнь искала полезность и составляла вокруг себя только те предметы, которые можно пустить в расход: пуговицы, мыло, катушку с нитками. И только потом, в самом конце – упоминание фамилии мужа. Нет, говоря искренне, это конечно была основная

любопытность, но не желательная. Такого рода любопытность, которую на самом деле пережить не хочешь. Потому что имеешь представление, что ничего хорошего она тебе не принесет. Не сказано «а», и «б» следом не предвидится, и «в» не придет. Да и только горе человеку от всего этого алфавита: звуки в буквы переведешь, а что толку? Слышать – наука редкая и в качественном отношении жиденькая, а понимать – и того больше – почти что дар какой или исключительность. Так и выходит, что словарь оговорен и кладовая для него у каждого своя имеется, а только разумение друг друга на уровне, близком к нулевому. Ведь кто слышит – не поймет. А поймет – так ответить утешительное все равно не сможет, так как не изобрели еще таких предложений, чтобы они всю пучину чувства передать могли. Вот и получается, что всяческий коммуникативный коридор в молвую разве что и ведет: смывай правду, положи семиотику.

В этом отношении людских привязок хочется мне иметь в количестве самом незначительном. И дело не в какой-либо боязни, а в лени излагать свои правила, да чужие выслушивать – да и надо ли оно мне чужое-то? У меня собственного – амбар.

У Гио процесс пищеварения запускает организацию презрения к окружающему. Вероятно механизм этот у него, как два сообщающихся сосуда: один без другого фурычить не согласен. Когда он засовывает в себя чье-то мясо, то можно услышать, как пережевывается не только прожилки, но и характер. Для некоторых людей, получается, пища необходима в смысле не только энергетическом. Что меня в Гио располагает в самой значительной степени – он уродством своим свет не портит, а потому старается жить и трудится по вечерам. И жена его ни в чем ему не противоречит. Такие обычно идут за тобой в ад и тишину сохраняют. Не потому что боятся голос повесить, а потому что своей идеи существования не имеют и довольствуется тем обо что споткнулись, да что подобрали. Не могут они в одиночестве совершенно. Так что хоть помирай, хоть жгись – все

с компанией веселее будет.

Гио как-то видел в маршрутке барышню – Федра. И кожа у нее была цвета светлой глины, чистая и без изъянов. А потом, потом она вдруг произнесла что-то совсем не соотносительное: «Водитель, мол, задержись на остановочке, не робей!». Такие вещи из него слезы так и давят, усугубляют тоску внутреннюю, расшатывают остатки эмоциональной стабильности. Начинает Гио все отрицать и от всего отмахиваться: мир не тот, люди не здешние, лапают чистое руками с ногтями покусанными. Можно сказать, что он выступает против Античной трагедии, если тональности для нее в этом мире уже не изобретают.

Бабушка любила наставлять всех следующих за собой – не везет потому что кровь в ваших сосудах бежит категории самой низшей и трагической. От этого и худость лезет и гадость прет. Так ей тот человек сказал, что приходил забрать ее духи и ее мужа в ту ночь. Он кажется и ногами-то паркета не касался – впорхнул по коридору в комнату и справился опытным тоном есть ли еще какие проживающие здесь, о которых ему, хозяину положения неизвестны. Потом взял со стола большой хлебный нож и, пока другие искали что-то не свое в бабушкиных вещах, терпеливо ожидал на стуле и пробовал прицелиться лезвием в крупные морщины половиц. Сталь вникала в дерево, а досматривающие – в три бабушкиных платья и еще немного в ящик письменного стола. Когда вещи кончились, парящий человек забрал то, что бабушка любила больше всего: мужчину, которого она выбрала себе в спутники.

Хлебный нож он уронил в кастрюлю с компотом: сталь тихонько пискнула по ошибке, приняв красную воду не за то, что нужно, но под его взглядом заткнулась. Он положил сверху крышку и вышел вслед за очередным, для которого все уже предрешили.

Потом бабушка разложила все вещи по местам и хорошенько искупала пол от чужих подошв по заведенному для нее с самого

детства порядку: залезая тряпкой в те места, куда никто глядеть не будет. Она хотела и кастрюлю вымыть, но хлебный нож так долго был в ЕГО руках, что смотрел на нее сквозь компот одной только жутью и перепугом.

Когда она шла по коридору с узким чемоданом, за каждой дверью стоял человек и молчаливо умолял ее не поворачивать головы в его сторону. Два ключа, свой и мужа, она отдала гвоздю в прихожей, а паспорт – лифтовой щели.

Щель, понятное дело, не ответила – у пустоты нет своего цокота.

Отец носит кресты, но не понимает их значение. Он думает, что его крест – это то, что носил Христос. Но Христос взвалил большой крест, а отец – маленький крестик с позолоченной надписью «Спаси и сохрани». Когда он нагибается за нужным, крестик закрывает ему губы. Как бы говоря: «Молчи, пожалуйста». Отец приносит просфоры утром, говоря: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». А меня всегда холодком обдавало, как можно есть то-то, что любишь. Тем более Бога?

Он хотел нести царствие небесное в нашу квартиру. Но терял его где-то между автобусной остановкой и магазином «Магнит». Было удивительно есть просфору и догадываться, что тело господне на вкус как засохший хлеб.

В парке никого кроме нас и снега. Снег похож на грязь, а под грязью – пожухлая трава. Такая же трава у Гио растет на груди, шее и в районе солнечного сплетения. Иногда мне кажется, что Гио просто срезает ее с себя, в карман запасает и продает, как нужда просыпается. Так что когда вернусь домой, ключиком своим дверку открою в один только мне понятный мир, то в пакетике меня будет ждать запах его геля для душа «Океанический бриз». Я втяну его глубоко в себя и окутает меня сон крепкий,

спокойный. Сон, который не только здоровье приносит, но и успокоенность ко всему: и к Гио, и к Федрам, и к чистому, что лапают бездумно и бессовестно.

А Гио в другой парк переместится, мятый шарик затаит, где более благоприятно, ладони вытрет об снег девственный, еще ни чьими ботинками не поруганный. И смотрит на него блаженной своей улыбкой – вот оно для чего существовать надо, вот для чего мечтать. Да только как это совместить? Нечем, да некому. Так уж лучше успокоенность людям нести, чем изобретать новую мечту, которой всю жизнь следовать будешь, а она не оправдается: преломит тебя всего, да и выплюнет.

И приходят к Гио сломанные и не починенные, богатые и бедные, розовощекие еще, но глаза которых так и не начали гореть и уже не загорятся. Гио никогда не спрашивает сверх, но отмечает малейшие изменения в интонации.

Так что если кто-то не хочет с ним в ад, то он настаивать не станет и уговаривать не возьмется.

Есть те души, что во чреве матери родились скопцами. Им идти к людям все равно, что идти везде – нет для них в этом какой-то особенно забавы или развлечения. Все представляется внушительной длины витриной, на которую они смотрят без щепотки вожделения. И сердце у них получается все равно что мокрый древесный уголь: должно быть гореть-то может, да как узнать, если все время в луже лежит? Что плоть, что прах – все для них на одинаковых условиях. Ни помыслов дурных, ни мления ненужного. Есть среди них и те, кто с другими душами отношения-то выстраивает, но по окончании, что существуют они, что не существуют – разницы значительной не наблюдается. Все одно. А есть те, что скопцами быть хотят, но отваги не хватает. Зреет желание, как прыщ, саднит, внутренность коготочком проскребывается то тут то там. Сначала потихоньку: там цапарнет, здесь заденет. А как поймет, что унять его мощи

никакой не найдется, так и начинает в шмотья печенку драть или почку веером скручивать, али между ног пускать тепло с такой тягой что хоть сверху на полотенце встань, так оно паром все складки выпрямит.

С такими опасность какого характера? Стесняются они своей такой порченности, горюют о малосильности и хворь с ними делается еще больше. Потому что вместо вождение конфуз получают, да еще и свою первопричину оплакивают от всей души.

Кстати, в детстве моем секретов у каждого из нас был – значительный погреб. А сейчас обычай пошел доплачивать, за то, чтобы хоть кто-то твое самое сокровенное послушал – люди друг с другом говорят очень незначительно.

В какой комнате легче спрятаться в пустой или в полной людей? Бабушка нашла самую полную комнату в самом маленьком городе, где каждый человек двигался только в меру общего строя, а улыбался тогда, когда его об этом просили. Их легко было запомнить: цветной зефир, сатин и батист. В этой системе, где каждому обещали лелеять его общую значимость и раскрывать совокупные возможности посредством железа, которое вертелось, гладило и резало, достаточно было подобрать платок нужного цвета, чтобы тебя было уже не отличить. Она искала в себе мочь смеяться над шутками, которые вызывают слезы. Но все-таки когда настроение в комнате требовало от нее сказать «Мы» – она говорила, имея в виду двоих. Себя и того, кого забрал хлебный нож. Ее слова, как и слова других, не шли дальше маховика, рычагов или кнопки прессового оборудования. Их перемалывали и сбрасывали в шлак, как и всех, кто не умел держать особое настроение. Ведь железу тоже не плевать, что за идеология им управляет – кнопки любят, когда на них жмут пальцами со стертыми подушечками.

Но с другой стороны железу нужно оставаться холодным, ведь если не иметь того, что любишь, то нечего будет лишаться.

Неприлично же привыкать к материалу простому и расходному. Отсюда все поломки и неисправности, которые сбываются. Но на ржавый металл смазка найдется если, то на ржавую душу средства достаточного нет. Да и зачем старую мазать, если можно новую завести? И не с толкача, а с порога.

Гио разбился на кусочки, когда в винительном падеже не совпала та самая последняя буква. В окне было темно, и белые хлопья мотались, не зная, где лучше будет упасть. Над доской висели плоские глаза Лидера. Гио знал, что учитель будет орать, пока у него между бровей не вспухнет маленькая голубая венка. Потом ударит его по чему-нибудь, что подвернется первое – плечо, колено, грудь. Руки у Гио к тому времени уже работали отдельно от ног. Глаза – отдельно от носа.

Дети знали, что бывает, когда за тобой есть вина – учитель заставляет оставаться с ним один на один после уроков. Так что они послушно водили чернилами в правильном направлении и ждали, когда выберут не их. А еще они делали бумажные шапки на переменах и говорили друг другу «Сам ты говна кусок!».

Для Гио все дети были одинаково уродливы на лицо, так что запоминать их было бессмысленно. Также как и бессмысленно было запоминать запахи – все, что не приносилось в школу, начинало пахнуть половыми тряпками. «Важно не путать винительный падеж с дательным падежом. Где состояние предмета описывается не с помощью глагола, а наречия» – читал Гио, – «Ребенку обидно. Сестре все равно. Учителю холодно».

Когда учитель делал с ним это в первый раз, на них смотрели только книжные шкафы и стопка непроверенных тетрадей. Во всех них кто-то пытался найти правильные окончания на вопрос кто или что. «Маме страшно. Сестре смешно. Учителю приятно».

После этого Гио попросил перевести его в другую школу, но папа с печенью, от которой желание оставило лишь кровавый шмат, сказал: «Нехуй выпендриваться, говна кусок!».

Скопец во мне начинает плакать каждый раз, когда доктор преступает мой порог. Кожа на пальцах у всех врачей запах имеет ветра смешанного с поручнями метро. И еще немного – шерстяным одеялом других. Запястья их мускулистые развиты порядочно. Такими запястьями и продавцы купюры по лоткам кассы расстилают. А еще такие же запястья у женщины, которая ведаёт тортами на соседней улице. Больше всего в мире ей нравится их паковать и резать ленточку макетным ножом. Желание отрезать здесь – крепкий фундамент. Нож – сильная и ведущая часть.

Когда таблетка принимается бурлить между десен, раззадоривая слюну, остается лишь ждать заветное «Поднимите футболку». Пальцы то надавливают, то взмывают вверх над пупком. «Здесь? Здесь?». Фаланги на них крупные. На такие фаланги будет трудно надеть кольцо, если появится кто-то, кто захочет показать всем, что здесь уже занято.

Глаза у докторов, как склад ненужных вещей, которыми мало кто интересуется: понос, открытый перелом локтя, розовая пена, льющаяся из горла, мерцательная аритмия. Они видели, как свисают с люстры. Какие бывают миндалины при ангине. Что такое острый живот и как кричат те, внутри которых что-то лопается. А потом доктора приходят домой после ночной смены и этими же глазами смотрят на баночку с чаем «Гринфилд» или своего ребенка.

Еще пара секунд прежде чем очередной доктор поймет, что сегодня мертвых не будет. Я тяну время, как могу, чтобы руки дошли хотя бы до резинки от белья. Когда я наконец дергаюсь и прячу лицо от стыда, глаза смотрят на меня аполексией правого яичника напололам с обширным инфарктом, а шариковая ручка выписывает укол но-шпы.

Цветной зефир, сатин и батист после смены несли свою усталость туда, где что-нибудь съестное дымится на столах, а еще – в

стаканах. Они ерзали одеждой по деревянным лавкам и ковыряли черными ногтями клеенчатую скатерть. Они рвали газетные салфетки, не жалея их. Они ругались друг с другом, били друг другу по худым изможденным ляжкам, а потом вонзали свои зубы в точно такие же только уменьшенного размера, которые ждали их на картонных листах вместо посуды.

Никакого контраста между ними не существовало. Одинаковые мужья и жены, стремящиеся перевыполнить план, которого не существует. Дети, которые пытаются быть взрослыми. Портреты Лидеров, которые не меняются. Всегда звучащая гласная буква. Служба, которая никого не интересует. Кадыки, которые проталкивают слюну с тяжелым усилием.

Пока они ели, бабушка смотрела, кто из них будет следующим. Кому положат хлебный нож в кастрюлю: цветному зефиру, сатину или батисту?

В той книге, что отец решил читать вместо учебников по строительству железнодорожных рельсов все было много понятнее и роднее: слова обещали счастье, запятые утешали. Отец понял, что когда придет время, то слова помогут. Тогда он решил примерить на себя весь текст, но впору пришлась только парочка букв. Остальное было либо слишком велико, либо трещало по швам в локтях и там, где ногам уже можно было сгибаться. Отец смотрел на других товарищей и видел, что они тоже берут не все: кто-то вешал гласные на шею, кто-то – носил слоги в ушах. Иные вообще клали в карман одну лишь точку. Каждый брал только то, в чем мог ходить.

По выходным все они собирались в домашней церкви в дальнем районе и складывали все свои слова в одну общую молитву. Отца никогда не смущало, что в ней не хватало целых фраз – их принесут те, кто сможет.

Его, как и многих из них, интересовал только адресат.

Главное во всем этом нашем городском процессе – не идти к людям. Во всяком случае мне представляется это так. Научись обходиться тем, что имеешь, а то, что не имеешь – у близлежащего не занимай. Себе в убыток будет, а людям – информация на оповещение. Терпи, если чего-то хочешь, а лучше разубеди себя насколько это возможно. Все равно вокруг найдется кто-то, кто идею твою в присвоение возьмет, да доведет до завершения так, что ты не предполагал и не рассчитывал. Сама идея девственная – все равно, что безделица: любуйся ей да на комод клади. Кто из товарищей придет – подивится, да словом тебя красивым обзовет каким. И расстанетесь вы в чувствах благодарных: он, думая, что тебя Господь одарил, в маковку чмокнул, а ты – что он это заметил, да искренне возликовал. Кто ухали для того, чтобы ее в широкий репертуар поместить не имеет, уж лучше так. Берут ведь числом, ресурсами, да смекалкой. А иначе гляди, как другие жернова крутят и порыв твой чистый мешают с всем, что не попади.

Или вот хочешь ты, допустим, дом. Но по факту-то насобирать получится только на халупу. Будешь рубанком махать – кого-то да заденешь. Будешь доски пилить – стружкой замараешься. Построишь гостиную из песка, говна и крови – без слез не взглянешь, без мокроты не сплунешь: не того цвета стены с приборами, за окном – мрак, а потом и вовсе жена состарится, так процесс постройки этот не скоротечный. Но страшнее то, что с убожеством своим примиришься и полюбишь за неимением более значительного. Вот и сиди, трясись, как бы все это не утратилось. Получается, что порыв твой одни несчастья рождает. А взял бы стену по росту, может быть бы и лбом не уперся.

Когда что-то губящее в тебе увеличивается каждый месяц, то нужно готовить всю свою сущность без опоздания. Прежде ступить куда-либо – стелить хитрость, прежде чем лечь –

храбрость. Спать в пол-уха, но отдыхать преизрядно. А вот если вся сообразительность поиспарилась, то дело дрянь. Вещь бракованная выявиться может в момент самый незапланированный. Вот было, терпело, подражало, а потом раз, и ухнул черт из коробочки.

Сначала животу надоел халат. Потом и другие тряпки. Заурядность получалась все тяжелее. Бабушка глотала кипяток в перерыве и считала, сколько глаз опустится на ее пупок так, чтобы там не задержаться. Она уговаривала халат изгибаться в нужном направлении, а срамное ведро молчать. Однажды она мыла руки в тазу и увидела на его дне большой хлебный нож.

Утром бабушка первым делом протерла станок от пыли: обошла каждую кнопку холодной ветошью, собрала ворсинки и истлевшие нитки, которые забились в уголках. А потом положила левую ладонь на рабочую поверхность.

Металл вошел в кожу с плохо скрываемым наслаждением.

Если мы все усматривать должны лишь добро и стремиться к нему всеми своими силами, то кто взял и устроил мир так, что все начала в нем – боль и насилие?

Гио открывал учебник, и смотрел, как буквы в нем расписывали беды, грабительства и раздоры. Он заучивал даты вечного покоя тех, с кем он никогда не будет знаком и рисовал стрелками нескончаемые освободительные движения, которые так никого и не освободили. Его волосы на голове сделались цвета школьной общественности, от кожи тянуло запахом коридорного линолеума, а голос не пронзал ни чьи уши, потому что раздавался только по команде. Гио стал тем, кто никого больше не хочет манить. На переменах он тоже применял бумажные шапки и кричал тому, кто сопротивлялся давать согласие: «Сам ты говна кусок!». Он тер мелом школьную доску и еще пытался сделать так, чтобы слиться с пространством сугубо естественно: стать в некоторой степени стеной, дверью и туалетной плиткой. Гио освоил самую

превосходную степень невзрачности и незапоминания. А еще вместе со словарными словами он заучил то, что нечестивый всегда одолеет праведного, ведь по учебникам выходит, что нет в его мире ни истины, ни лжи, ни добра, а есть только каждое отношение к ним человека. А в этом случае выходит, что утешение для всех несется путями разными. Один шагать будет, запнется, да нос как следует разmozжит о камень. А другой по той же самой дороге пройдет и даже рубахи не запылит. И камня не заметит.

Кстати, Гио успешно сливался с барной стойкой. Мы пили кофе, но только Гио глотал его так, будто это вода, и рубаха его всегда была незапыленная.

Была у нас игра, которую веснушчатый Валька обозвал «Пленом». А играть в нее надо так: жертва загадывает секрет, который дорог ей одной и пытается сохранить его, не обращая внимание на любые устрашения. Остальные участники игры секрет тот пытаются вывести, переходя от более миролюбивых методов к менее – даже к привязыванию к дереву, запугиванию и различным ущемлениям свобод. Что нужно для игры и успешного ее процесса? Веревка или что-либо напоминающее ее, палки, кусты и любые подручные средства, представляющие опасность при их правильном использовании. Игра заканчивается, когда секрет тот становится достоянием общественности.

В нашем городе канализационные трубы лопаются от желаний, водосточные трубы от сетований, а провода от молитв. Все здесь разбитый кирпич и отлетевшая штукатурка. Все здесь разочарования на пустых местах. Все здесь слезы из пустого в порожнее. Молчит только тот, кто не хочет все основательно. Кому не о чем ходатайствовать и вожелеть. Только вот нет никакой дополнительной информации о том, плачут ли скопцы о своем оскоплении? Скорбят ли о наслаждениях те, кто никогда их не вкушал?

Когда немощь естества прошла, а травма производственная завершилась, то остался только результат перемешанной вражеской крови. И не плакал он лишь потому, что знал, сколько будет умножаться век от старости, столько будет умножаться причин для слез. Для всего на земле бывает случай особый, для которого бережешь праздничную сорочку. А иначе выплещешь чашу раньше положенного, чем горькую слюну запивать будешь?

Бабушка смотрела на сына и знала, что теперь помыслы тягостные придется отложить и от любого тления отказаться на совсем, так как пройдено только около половины десятой части. И мышцы ей для того нужны, и всякая кожа, и волосок каждый, даже убогий и седой. И если нет веселья там, где его быть не может, то сам его для себя сотвори. И радуйся непродолжительно, раздражай горе, беси напасти, дразни незамедлительные беды. Если у слепой публики вожди слепые, то лучше оставить их друг другу. Ведь если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И если нет у тебя тяготы упасть, то отойди и другому не мешай, ведь все равно пойдут напролом, а не как удобнее.

Бабушка, как и все подобные ей, конечно, загадывала, чтобы слепые прозрели, но сама решила больше полагаться на хлебный нож.

Всем докторам в своей общности умирать некогда потому что всегда найдется какая-нибудь кардиограмма, которую надо расшифровать. Божественного в докторе столько же сколько любви в сердце. Иной аж скворчит так, что птицы озадаченно подпевать берутся, а другой как пустая бутылка: нет в нем ни жизненных намеков, ни смертельных образов. Крапива — и та не растет. В таком божественного разве что на конец иголки насобирать можно, но и тут с изрядными стараниями.

Иной раз доктор приедет — тронуть боится, да все спрашивает про давления, про систему нервную, в рот ложку сунет и готов

диагноз. Вот и берет волнение за тех, кто ведет схватку смертельную. К кому болезнь подкралась, да выжидает, когда органы компетентные помещение очистят. Никаких шансов здесь не наблюдается. Один проигрыш.

Врач очередной ни к одному из типов этих принадлежности не имел: божественного нем наблюдалось сполна, а любовь просвечивалась из нагрудных карманов так, что хоть глаз теки. Он был стар, но все еще тронут красотой и возвышен. Ложь мою разгадал еще на этапе заворачивания футболки: остановил успокоительным и сунул бланк на подпись.

Каждый человек- это кладбище. Он закрывает свое прошлое на замок и никому не показывает. У каждого человека свой замок. У кого-то он щелкает в коленках, у кого-то – между лопаток или на самой макушке. Когда бабушка садилась в трамвай, который вез ее на фабрику, то всегда смотрела не на бесформенные тряпки людей, а на их пуговицы, так как если правильно считать пуговицы, то можно легко угадать характер человека и его замок: «Куколка» – говорила бабушка про себя, отмечая первую пуговицу на чужом плаще, и далее называла следующую, пока ряд не заканчивался: «болезница», «воображала», «сплетница», «Царь», «царица», «клоп-мокрица». Иной раз выходила Царица, но тяжелее всего было с клопами. Особенно с теми, у которых замок щелкнул где-то на уровне глотки.

В тот день трибуне стоял человек и несчастно краснел от жаркого воздуха. «Болезница» – сразу догадалась бабушка, посчитав все его две пуговицы на пиджаке. Человек говорил, отчеканивая каждую букву так, как будто буква – это таракан, а вздох – это туфля: «Важнейшим делом партийных и государственных органов, а также хозяйственных руководителей являлся перевод предприятий на выпуск продукции для фронта».

Его кадык тяжело протолкнул слюну куда-то в воротничок кремовой рубашки. Зал послушно дождался, когда она упадет:

«Фабрика переходит на производство тканей военного назначения. Вместо цветного зефира, сатина и батиста – сказал он – будем выпускать молескин, перкаль, тафту, кирзу, марлю и плащ-палатку».

Спорить с ним было бесполезно, а потому все хлопали до тех пор, пока их ладони не покраснели.

Наш город устал быть главным, но другая участь для него никем не разработана. Все в нем как-то непомерно: от дома до дома, от машины к машине. И даже если одно сердце устремится к другому, то прежде чем оно дойдет, – истреплется, истаскается и само себя изживет. Все здесь предвкушение и надежда. Везде здесь – бессрочное ожидание, которому надо учиться и овладевать, как любым другим ремеслом. Без него прожить – все равно, что ягоду мелкую в авоське нести. Оно конечно можно, да только много ли упрешь? А вот дышать здесь над по-особенному: не полной грудью, но и не одной ноздрей. А то в легкие насобираешь себе и коклюш, и чьи-то побежденные желания, и слабость человеческую. Потом хоть мылом выводи, хоть уксусом – не отойдет. Будешь с чужим горем ходить в кармане, да по чужой правде пятками, а свое собственное так и не выработаешь. Да, кстати, памятники всегда приятнее людей хотя бы потому, что они молчат. Вылепить лидера надо не похожим, а любым. Ваяние из мрамора – это самое приятное. Холодная глыба притягивает все горячие органы. Лидеры должны остужать, иначе в их серьезности может засомневаться кто-нибудь подозрительный. А их пуговицы обязательно оканчиваются на значении «Царь».

Друг мой Валька со своей веснушкой здесь очень бы поковырялся, создавая описание взрослой забавы. Ведь в каком городе больше мрамора – тот, получается, и выиграл.

Сигарета для отца была больше, чем просто глотание дыма. Пока она тлела между его пальцев, он зажимал одну ноздрю костяшкой

и начинал отрывисто через нее дышать, прочищая. Затем делал несколько вдохов, прикасаясь кончиком губ и языка к сигарете так, как если бы это был женский сосок, и приступал ко второй ноздре. Все его бычки пахли влагой. Как будто их вымачивали в воде, прежде чем положить в пепельницу.

Отец кормил дымом своего Бога, стоя у кухонного окна. Он хотел жить вечно, хотя не знал, чем себя занять, кроме убивания. Когда мы садились есть, то он расправлял свои косматые усы в разные стороны, чтобы сквозь них вместе с куриным бульоном протекло хотя бы немного здравого смысла. Он тщательно пережевывал его своими почерневшими от времени пломбами, прочищал ногтем те места, где он застревал, а потом бежал выдыхать его обратно через дымовые вздохи.

Люди так привыкли есть чьи-то тела, что даже не усматривают в этом трагедии. Отец не усматривал трагедии в том, что куриный бульон и тело христово он ел в один тот же день. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Отец был похож на сухую палку, у которой нет никаких плодов, зато есть уверенность в том, что она — роскошный сад.

В нашем городе легко отличить людей скудоумных от иных. Скудоумный у дома своего сядет. Возвышение какое-нибудь возьмет и с утра до ночи прохожих кличет, заходи, мол, пробуй мою воду сахарную, хлеб вкушай мой приятный, трогай одеяния бархатные. А иные и просто в лоб тычут: «Глупый ты человек? Заходи, рад тебе буду, пустыми мыслями обменяется, ограниченностью померяемся». И заходят. И трогают, и меряются.

Таким родом кликушества у нас улицы полны в любой год и в каждый месяц. Человек с острым умом от чужой сахарной воды удаляется поздорову, а свою пить дает только тем, кто жаждой мучается. Потому что знает, что глупому что вкус, что запах — как скажет подавляющая общность так и будет испытывать. А

человек с жадой будет искать, да помрет, прежде чем в канализации приберется и что-нибудь выпарит.

Выходит, что всю суету на земле скудоумные и выполняют. И даже если приходить мысль от человека с грамотностью, то возвращать ее берутся скудоумные, так как они понятия строят, и моду, и связи друг с другом задействуют и всякую трансляцию. Вот и получается, что сдерживающий уста от мудрости – разумен, но преуспеет только в своей безуспешности, так как с вещами практическими у него все больше осечка выходит и в жизни ему ложкой похлебать только луковое горе. А не сдерживающий уста по глупости функционирует так: теки везде, куда-нибудь да и вытечешь. Сиди потом и разбирайся кто среди них баловень судьбы, кто прун, а кто везунчик.

Иной скажет, что когда руки человеческие мастерят бомбы, а не хлеб, то руки это праведников. Так как, чтобы хлеб рос, нужно все силы пустить на его охранение. А другой скажет, что хлеб не сади, тогда и резона бомбу кидать не будет. А третий по столу жбаном ударит и будет добиваться запретов, чтоб ни хлеба, ни бомб. Так и не договорятся, потому что договора из этого выходить никакому не получается. Все имеет право на существование. И вся суть в руках существующих.

Бабушка научилась и не есть хлеб, пить из дырявого жбана и не слышать бомб. Когда сражаешься каждый день, то не замечаешь войны. Молескин, перкаль, тафта, кирза, марля и плащ-палатка шептались о смерти так, как будто ее выдают по продуктовым карточкам. Каждый должен нести ее в кармане и не знать, где ее придется отоваривать: среди ковыля сухого, среди облаков, по дороге с фабрики или на кроватных пружинах. К смерти нельзя подготовиться, но можно готовить смерть. Утром фабрика принимала надежду, а вечером выдавала безразличие.

Однажды перед сменой бабушка выплеснула воду из ведра и увидела на его дне хлебный нож. Она взяла все вещи, что смогла

унести и потащилась к железнодорожной платформе. Когда она сжимала руку сына, то чувствовала его пульс дурной крови. Поезд нехотя ехал, потешаясь над трусостью и беспокойством тех, кто его наполнил.

А утром фабрика приняла на себя все бомбы праведников, которые охраняют хлеб.

Говорят, что сердце кроткое – жизнь для тела, а зависть есть для костей гниль и убожество. Но пробовать жить с кротким сердцем в убожестве и гнили – это жизни в бытовой направленности не прибавит. Одевай на псарню одежду для псов. В хлев – для хлева. А если все-таки пойдешь в болото без сапог не сокрушайся, что пиявки кровь сосут. Они для того к этому болоту и прилажены. Всякая тварь сотворена, чтобы быть сожранной или сожрать самой. И только удел человеческий – наметить, где в чужом рту прожеваться, а где самому сглотнуть, да выплюнуть. А что ты наметишь себе с кротким сердцем, кроме как изучение чужой пищеварительной системы?

Тот кто жрет, должен желудок иметь размером с зад, а зубы размером с коготь. Но когда я смотрю на нашего Лидера, то вижу только усталость в глазах и морщины. Каждый раз когда кто-то говорит, что Лидер уже стар, его портреты на стенах сменяются более юными. Когда скажет кто-то, что голос его сипл или дрожит, речи его заменяют на магнитофонную ленту. Стыд глаза колит за протухшие идеи, а оторвать взгляд все равно не получается.

Мы думаем что лидер пожирает нас, но на самом деле мы сами кидаем ему свои остатки.

Проблема человека на земле этой в том, что усматривает он зло в общественности социальной. Думает он: искореню богатых и сам богатым являться буду. Искореню врунов и будет на земле только

правда. Искореню царей и сам вознамерюсь царствовать. И летят бомбы на хлеб, а хлеб в жбаны, а жбаны в чужие кухни. И становятся бедные богатыми, и вруны сменяются другими врунами, а другие цари садятся в кресла. Потому что все в природе задумано по окружности, а верха у ней не имеется.

Отец решил, что Бог не только существует, но и умеет звать. Каждое утро он выходил из калитки садового товарища в город за молоком, а на обратном пути шел не по главной дороге, а по той, что огибала пруд с развалинами старой церкви. Иногда среди разбитых кирпичей он находил рисунки чьих-то стоп или ладоней. Отец накрывал своей рукой чью-то чужую, нагретую солнечной лаской, и ему сразу становилось теплей.

Он крестился в тайне от бабушки, надеясь, конечно, что хлебный нож никогда об этом не донесет.

Кто злословит на тех, кто его породил, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Но если ты живешь во тьме слишком продолжительно, то надобность в светильнике отпадает. Так что хоть кляни, хоть страстно желай – все одно. Мать Гио не хотела знать, почему он так рано возвращается домой с носом, похожим на переспелую клубнику. У нее были свои беды: папа с крохотной печенью, грязное белье и две смены судомойкой в институтской столовой. Каждый раз, когда печень накидывалась на нее и выламывала руку, то обязательно спрашивала: «Для коня – кнут, для осла – уздечка, а для глупой – палка. А ты кто?». «Глупая» – покорно отвечала мать. Когда она шла, накинув на острые плечи вязанную хламидку, то в обеих грудях ее болталась сила, и это волновало печень пуще, чем глумливое вино, ружье или табачный запах. Печень думала: «Если и я не остаюсь спокойной, то найдется и еще кто-нибудь».

Гио старался выработать спокойствие. Когда он слышал ссоры с крохотной печенью, то он думал, что надежда глупых и покорных ничтожнее земли и жизнь их получается ничтожнее грязи. А

значит не подмести ее и не вывести. А если отмыться от нее возможности не существует, то вдохни в нее дух жизни, сделай забавою потому что из всего можно извлечь прибыль. Хотя бы даже из того, от чего принято избавляться.

Личность человеческая, как проект себя не оправдала – думал Гио. Такт что дело за массою.

Если зло – плохо, то зачем нужны ядовитые деревья, опасные плоды и бычий цепень? Сказал ли Бог, взирая на них: «Это хорошо», или отвернулся постыдно. А если сказал, то почему мы клянем их и уничтожаем? А если отвернулся, то зачем не стер их в труху, не перемолол с дорожной пылью и с ветром не смешал? Так и люди злые – сами рождаются или Бог родит? Или добрые люди их делают злыми?

Бабушка говорит, что доктор не позволяет ей делать гимнастику каждое утро, а она не может представить себе день без деревянного скрипучего массажера и поворотов на металлическом диске для талии. Она сидит и капилляры на ее носу краснеют с каждой минутой, превращаясь в одну большую сеточку. Бабушка говорит:

«Ничто не делает женщину так, как талия» и ломает сухую веточку концом ботинка, как бы показывая мне, что произойдет с тем, у кого ее нету. Талия бабушки почти не изменилась за 90 с лишним лет. Только в самом начале она была меньшего размера, но ведь и металлический диск с массажером появились только после войны.

Бабушка говорит, что если кровь в тебе дурная, то породить она может только дурь. А потому, или ее выпустить самому или смешать с более благородной.

Вся беда пубертата – это то, что сердце у тебя горящее, но прав на горение тебе давать не желают. И все в тебе вихрь, и

все — ор. И все — силы вынуть бревна не только из своего глаза. Но тем, кто сам зажечь не смог, видеть горящее рядом — ни охнуть, ни вздохнуть: кислорода мало, да оболочка ветхая. Да и такая еще опасность: бревно вынешь — глаз через дырку и вытечет. Щеку другую под удар подставишь — зубы со всем корневищем повыбьются. Приросло уродство так, что только с кожей сдирать, а механизмы внутренние беспокоить начнешь — гайки полетят, да подшипники рассыплются. Кому в самом деле приятно, когда на гадость его пальцем тычут? Когда в больное место соль кладут? Нашел рваное дно в мешке — это ладно, но на на кой черт, скажите на милость? Латать все равно нечем, да и охоты нет уже.

Ведь и со всяким огнем так, погасить не можешь — жди когда прогорит. Вот и принято про все юное сказать: молоком, мол, наливается. Подождать надо, пока рассосется бунтарский дух. А меж тем, не дух это получается, а самый здравый смысл. А так-то расчет ладный: сиди, впитывай вину, майся от несправедливости и пусть тебе хребет переломят на том просом основании, что ты не зрел. А там уж самому не захочется ни бревна доставать, ни лес валить.

Оно и понятно: чего плуг тянуть, если за это много лет по пальцам били?

Смысл этого мира кроется в том, что будь человек скудоумный или грамотой перенасыщенный, а предназначения всего не поймет при любом раскладе. Зачем ветер дует в овраг, а не в парус, что его ожидает?

Зачем трава растет там, где не садишь, а там где садишь, не растет? Отчего у человека праведного такой грешник рождается, что ни добротой в нем дырки не заткнуть, ни чистотой, ни смирением. Зачем лучшие умирают вперед, а худшие землю топчут и от усталости плачут и сетуют. И почему то добро, что приумножается добрым, за добро считают. А то, добро, что злом совершено, даже запоминать не будут?

Домашняя церковь, в которую ходил отец располагалась в крохотном переулке. После ворот направо, затем все время вверх. Подъезд узнавался по зеленой акации. Этаж – по последней ступеньке. Стучать три раза, как если бы за дверью стоял не ты, а святая троица.

Когда отец шел по улице – он все время оглядывался, а домой возвращался разными дорогами. Бабушка никогда не смотрела в окно, чтобы увидеть, как он идет с горки к подъезду. Она никогда не верила в Бога, а только в хлебный нож.

Все раздоры человеческие от того, что каждый соглашается только с тем, с чем дело имеет. Что возделывает- за то сердце и кровоточит. Что собирает – то и потребляет. За что молится – то и другим советует. Только мир большой и места в нем хватит и на пахаря, и на кузнеца, и на криворукого башмачника. А только пахарь без уважения к наковальне, а башмачник – к плугу. Не кормит игла того, кто сеет хлеб, а угли не помогают тому, кто сапоги ладит. И вот увидят они трое в темноте деву молодую. Кузнец потрогает у ней руки и скажет, что руки эти к молотку не годны: мышцы хилы, пальцы тонки. Срамота одна выйдет, да ненужность. Потрогает пахарь ноги и скажет, что мышцы суховаты, поле не перейдут, за водицей лишний раз не сбегает. А башмачник кожу ущипнет и скажет, что материал такой не то, что на сапоги, даже на тапочки брать не станет.

Так уж задуман человек, что всегда узреет лишь тень, а не то, от чего она производится. Потому чтоб девицу увидеть, да себе в жены взять, не надобно смотреть туда, где знаешь, что увидеть и как применить. И если хочешь узнать, как солнце светит – смотри на него, а не на то, что оно освещает. А если дождь – откуда льет, а не на то, что поливает.

Но Лидер среди нас всех не тот, кто это узрел. А тот, кто среди спорящих примет сторону одного, скажет, что это есть истина и заставит в нее поверить оставшегося.

Первый раз Гио успокоился случайно: мать присвоила с работы хлор, чтобы выгадать что-нибудь дополнительное, а крышка у него была неисправна. Потом вместо дат известных людей был бензин, клей и лако-красочные материалы. А вместо контурных карт – полиэтиленовый пакет. И только любопытные отроки приходили сами. Сначала Гио считал, что каждый говна кусок должен хотя бы раз понять, как это – жить без бумажных шапок, побоев и общественного цвета волос. Но никто из вопрошающих не шел по его тропе, а топтал свою – след в след к предыдущему. Никто не хотел делать какое-нибудь заключение, только дополнительный вдох. Когда они покорно шли за учителем в кабинет и несли с собой винительный падеж, Гио больше не питала жалость. Когда они рвали чужие бумажные шапки вместо того, чтобы мастерить свои – не отзывалось сострадание. Когда чьи-то пепельные волосы становились общественными – внутри больше ничего не разочаровывало. Учителю страшно. Однокласснику грустно. Мальчику смешно. Гио решил, что нищий должен приходить с мольбой, если он хочет нищенствовать, а богатый может себе позволить отвечать по настроению, если хочет дальше богатеть.

Оставалось только одно, что саднило продолжительнее всего – мать с двумя сильными грудями, которая угодливо склонялась перед крохотной печенью, чтобы та ломала ей что-нибудь очередное: «Для коня – кнут, для осла – уздечка, а для глупой – палка. А ты кто?».

«И правда глупая» – решил Гио.

(Продолжение следует)... Neкаýalar